

РОБЕРТ БАЛАКШИН

ИВАН ИВАНОВИЧ,
МЫСЛИТЕЛЬ
НА ПЕНСИИ

РАССКАЗ

1

С Иваном Ивановичем, герое этой, возможно, несколько странно бытовой новеллы, однажды случилась большая неприятность — он умер. Но странно, что в *той* жизни он так же проснулся утром, сделал зарядку, энергично протер свои крепкие бока и грудь смоченной ледяной воде губкой, позавтракал бодрой рысцой заспешил на работу, где занимался квартальным отчетом.

В обед он подкрепился в столовой тарелкой куриного супа и бифштексом, а вечером знакомой дорогой побрел домой к сварливой сидящей уже два года на пенсии жене.

В новой жизни Иван Иванович по-прежнему с азартом посещал футбольные матчи, приветствуя истощенным воплем каждый забитый мяч и лихо, в два пальца, освистывая неугодившего ему судью. В футбольные дни жена, еще не утратившая всех добрых чувств к нему, выдавала Ивану Ивановичу денег на две бутылки пива сверх нормы.

Не за горами была пенсия, впереди маячила спокойная, бесхлопотная старость. Но за два дня до прощального собрания, на котором сослуживцы должны были произнести прочувствованные речи, а затем вручить ему почетную грамоту и расписной электрический самовар, Иван Иванович умер опять.

И снова никто не заметил этого. Жена привычно пилила его за любую оплошность, бранила простофилей и, пользуясь его нынешним положением, свалила на его плечи всю домашнюю работу: заставляла мыть полы, посуду, чистить унитаз, ванну, посылала в магазин, прачечную, конфискуя потом до копейки всю сдачу.

На пенсии Иван Иванович еще теплее полюбил стадион, где собратья-болельщики почтительно величали его «дедом», с уважением выслушивая глубоко продуманные (впрочем, никогда не сбывавшиеся) прогнозы.

Три года пенсионной жизни промелькнули незаметно, когда Иван Иванович снова скончался.

Это страшно потрясло его. Он уже давно тревожно подозревал, что жизнь заключает в себе какую-то тай-

ну, но нащупать пути к ней не мог. Как вдруг жизненный туман поредел и что-то как бы блеснуло в нем.

Легко возбудимый, впечатлительный человек отозвался бы на этот еще весьма смутный проблеск стихотворением, подвигся бы на какой-нибудь необыкновенный поступок или, в крайнем случае, запил бы на неделю. Ивану Ивановичу этого было не дано. Воспитанный бухгалтерской службой в сдержанности, он не стал метаться из стороны в сторону. Подобно энтومологу, изучающему поведение редкой букашки, скрупулезно фиксирующему каждый ее шаг, повседневные крошечные привычки, Иван Иванович с не меньшей пристальной вдумчивостью стал наблюдать за людьми: вслушиваться в их разговоры, сопоставляя слова с делами, следить за их мимикой, примечать, как ведут они себя друг с другом, с детьми, животными, растениями.

В качестве объекта изучения люди оказались удивительными созданиями: суетливыми, падкими на обман и лесть, верящими самым нелепым слухам и обещаниям и ни в грош не ставящими слово правды, жадными и щедрыми, хитрыми и простодушными, орущими на родную мать и умильно сюсюкающими над блохастым бродячим щенком, заботливо лелеющими хилый уродливый саженец и походя срубаящими топором юную гибкую березку. Необъяснимая на первый взгляд двойственность была главной людской особенностью. Человек обещал прийти на встречу и не приходил, уверял тебя в своей искренности, а вскоре случайно узнавалось, что он бессовестно лицемерил. Люди изменялись, как плывущее по небу облако. Перемены бывали столь разительны, что человека, встреченного утром, нельзя было узнать днем.

Это двоедушие людей не было, разумеется, новостью для повидавшего кое-что на своем веку Ивана Ивановича. Однако лишь теперь, систематизируя свои наблюдения, умно обобщая их, сближая вроде бы далеко отстоящие, а на деле родственные поступки, он начал проникать в суть явлений.

Оказывалось, что человек в продолжение жизни неоднократно умирает, но обе жизни (подлинная и мнимая) были настолько схожи, что люди не замечали случившегося. Живые люди жили, а мертвецы перемещались среди них как заведенные куклы.

Содрогнувшись от своего открытия, Иван Иванович потерянно ходил по улицам родного города, нахохлившись, уединенно сидел на трибуне стадиона.

Он страстно желал убедить себя, что заблуждается, сочиняет что-то уж очень несусветное, но скоро получил ошеломляющие доказательства своей правоты.

Большой любитель и знаток пива, Иван Иванович покупал его только в магазине, презирая пивные за их грязь, сутолоку и хамство.

И надо же было так случиться, что в окрестные магазины четвертый день кряду не завезли пиво. Что стряслось на пивзаводе с линией розлива, никто не знал. Не прояснили ситуацию и настойчивые звонки Ивана Ивановича на завод.

Делать было нечего — охота пуще неволи. Покряхтев, почесав в затылке, Иван Иванович стал снаряжаться в вынужденный поход. Долго охорашивался перед зеркалом, переодевал одну рубашу за другой, подбирая к ним галстуки, начальственно хмурил брови, напуская на себя неприступно-строгий вид.

— Часом, не к зазнобушке собираешься? — уколола жена.

Иван Иванович не удостоил ее ответом...

В сколоченной на скорую руку из фанерных щитов, прокуренной пивной лениво колыхалась, перетекая из разливочного окошка к высоким железно-трубчатым столикам, тусклоликая в сизом табачном дыму человеческая масса. Тяжело пахло сыростью, подгорелой рыбой и чем-то таким гадким, что противно было думать — чем. Затиснутый в середине очереди, Иван Иванович смирно ждал, пока поток потных тел пододвинет его к окошку, за которым в четыре руки расторопно орудовали две буфетчицы. Пьяные мордатые мужики с наколками на руках нагло совали мимо него в окошко кружки, литровые банки. Кипя негодованием, Иван Иванович благоразум-

но помалкивал. Кем был он тут, в этом волнуемом пивными страстями людском море? Утлой щепкой, которую оно закрутит и вышвырнет вон.

Оконце уже рядом, еще каких-нибудь четверть часа — и конец мучениям. А за ближним столиком вспыхнула драка. Дрались, как непроизвольно, но безошибочно определил Иван Иванович, живой и мертвяк. Живой был и выше, и сильнее, да ведь мертвого бить что деревяшку, он только кричал от ударов. Ноги Ивана Ивановича, не выносившего таких зрелищ, затряслись, он зажмурился. А пивная внезапно ахнула единым вздохом, словно порыв ветра промчался по ней. Иван Иванович разлепил веки, в глазах у него потемнело: из шеи живого человека била, брызжа на людей, струя крови.

Загремели опрокинутые столики, взвились рваные крики:

— «Скорую», «скорую» вызывайте!

— Остановите же кровь!

— Жилу ему пережмите!

— Эх хлещет. Позгадет, как из крана.

— Поможет ему «скорая», тут моргом пахнет.

Обморочно натываясь на столики и людей, потеряв приготовленные в руке деньги и двухлитровый голубенький бидончик с уже снятой крышкой, Иван Иванович выдрался из жуткой пивнухи на волю. Рванув наобум через дорогу, он едва не попал под колеса громоздкого, рычащего, как зверь, «КраЗа», чудом увернулся от «Волги».

С выпученными, остекленевшими глазами Иван Иванович мчался, не разбирая пути.

Этот безрассудный бег в никуда закончился быстро. Проезжавшие по улице в специальной машине охотники за людьми уже заприметили свою жертву.

Иван Иванович едва не влетел на перекресток, чтобы там под насадно-яростные скрежеты тормозов и остервенелую шоферскую ругань вторично за малый отрезок времени испытать свою судьбу, когда его схватили цепкие руки. Он растерянно закрутил головой и помертвел: две пары нацеленных на него милийских глаз лучились нелюдимым, тусклым мерцанием.

— Я не пьян! — по-заячьи взвизгнул Иван Иванович.

Безмолвно, как в дурном сне, его повели к машине. На попытку что-то объяснить ему заломили руки. Заныв от пронзительной боли, Иван Иванович на цыпочках засеменил к железному фургону с мутными стеклами, бока которого будто в насмешку украшали милосердные красные кресты.

Здесь томились изловленные люди. Одни убито молчали, другие плакали или ругались.

Во дворе здания милиции им приказали выходить. Людей выдергивали за шиворот и волокли в вытрезвитель, где толстая, с розовато-сытым румянцем во всю щеку женщина-врач сортировала доставленных.

— Этого-то на что привезли? — маленькими глазками колюче обшарив Ивана Ивановича, свирепо буркнула она. — Он же трезвый.

— И правда, — отозвался один милиционер, приглядевшись к нему.

— Ведь я говорил! — с надеждой, что сейчас справедливость восторжествует, воскликнул Иван Иванович. — А вы...

— Не выступайте! — прервал его милиционер, больно ухватив за локоть, повернул к выходу. — Видишь дверь? Закрой ее с той стороны.

В сумерках, когда из-за деревьев на небосвод выплыла желтая, теплая, словно масляная луна, а в садике у больших прудов засвистал, задрожил, рассыпаясь трелью, соловей и там послышался приглушенный молодой смех (природа этим вечером как бы хотела сказать, что она по-прежнему полна ласки и любви), измученный, опустошенный, с растоптанной, поруганной душой, Иван Иванович отпер дверь своей квартиры.

— Иван, ты где болтаешься? Я места себе... — говорила, спеша из кухни в прихожую, жена. Вошла и всплеснула руками: — Ой-й-й! Ваня, это ты? Ты где был-то? На старости лет в разгул ударился?

Иван Иванович, в измятой, грязной одежде, с всклокоченными волосами, столбом стоял посреди прихожей, шумно сопя носом. Пересказать происходившее с ним сегодня, пережить все это заново было выше его сил. Сейчас он жаждал одного — забвения и покоя.

— Так и будешь со мной в молчанку играть? — медленно обходя его, голосом тетки из вытрезвителя говорила жена. — Я кого спрашиваю? — голос ее зашел. — Новый пиджак, брюки... по каким свалкам тебя леший носил? Солидный мужчина, на пенсии. — Она закричала: — До чего ты достукался! Шляпа! Шляпа-то где? Давно ли куплена, году не ношена, куда шляпу-то ты ухайдакал, пропойца несчастный!..

— А-а-а! — бешено взревел Иван Иванович, подняв над головой кулаки, и трактором двинулся на струхнувшую жену.

Она, впервые увидавшая его таким, оцепенела от страха, попятилась, но куда ей было деться в их низенькой однокомнатной хрущовке. А Иван Иванович, остановившись перед женой, опамятовался. Ударить жену? Чем же он тогда будет лучше тех, кто топтал его в грязь сегодня?

2

Бессонная ночь ожидала Ивана Ивановича. Маски-лица милиционеров, повозка с крестами, жалкие люди в ней, гомон пивной, вид свистящей струи крови, врач со свинными глазками, вопящая на него седая, сморщенная старуха вертелась в мозгу нескончаемо-бредовым колесом. Значит, любого человека можно вот так запросто цапнуть с улицы, мытарить в душевной, вонючей машине, затем вытолкать в шею, даже не извинившись. И это — права человека, свобода слова? А люди в пивной! Ну как можно бить человека, которому больно, кулаком по лицу, по губам, по глазам, да еще и ножом его. А жена! Не разобравшись, не вникнув, не посочувствовав — сразу орать! Как, зачем жить в этом ненормальном, исковерканном мире? Неужели и завтра опять видеть фальшивые улыбки мертвецов, наткаться, как на иглы-сосульки, на их острые взоры, слушать лживые речи, терпеть грубость, бессердечие, жестокость?

Нет, нет, нет! Уж лучше покончить с собой. Ничего больше не видеть, не слышать, не знать!

Осерчавшая на него из-за вечерней стычки жена рано утром ушла из дома. Треснула дверью, не промолвив слова.

Иван Иванович, вскочив с постели, стал скорее искать веревку. Перебрал всю квартиру и ничего не нашел. Пододеяльники, простыни, рубахи, полотенца сдавались в прачечную, а для носовых платков, носков, салфеток под цветочные горшки и прочей постирушечной мелочи была натянута вдоль балкона бечевка, которую Иван Иванович без труда порвал руками.

Неужто придется бежать в магазин? Но не вешаться же, в конце концов, на шнурах от ботинок.

Глубоко в серванте, за стопой нижнего белья Иван Иванович обнаружил неизвестно для каких целей припрятанный женой моток прочного бельевого шнура с капроновой нитью.

В смутении побродив с мотком по комнате, Иван Иванович вышел на балкон. По улице проезжали машины, шли люди, во дворе на качелях катались дети, резвились у песочницы, а за столиком под сенью лип знакомые старики предавались глупейшей игре в домино. Легкий ветерок шевелил ветви деревьев, по листьям скользили кружевным узором золотистые солнечные пятна.

Нет, зачем обманывать себя этой видимостью жизни. Разумней оборвать все разом.

Отрезав часть шнура, Иван Иванович привязал один его конец к колену канализационного стояка, забрался на унитаз и, мысленно попросив прощения у жены, надел на шею петлю.

В последний раз озирая тот мир, который покидал, Иван Иванович повел взглядом по стенам, изумившись, что левая стена, словно омытая влагой, блестит, отливает ртутно-водянистой гладью. Узкая клетушка уборной отразилась в этом чудном зеркале пространством из черных, холодно-матовых мраморных плит. Там он увидел и себя, босого, стоящего с веревкой на шее. Из дымчатой отдаленности удивительного помещения к зеркальному Иван Ивановичу деловито, как рабочие на смену, шагали три

загадочных веселых существа. Тошние, с продолговатыми козыми рожницами, с острыми завитушками рожек над лбами, одетые плотной, курчавой, коричневой, словно плюшевой, шерстью, они несли на плечах железные скребки и крючья, какими обычно бывают вооружены кочегары в котельных. Тотчас с-под низу приволокло горько-удушливый, угарный запах. Хлебнув глоток этого жаркого, шаркнувшего теркой в горле чада, Иван Иванович поперхнулся, надрывно закашлявшись. Одна нога его соскочила с покатого края унитаза.

Балансируя на одной ноге, как канатоходец над бездной, Иван Иванович отчаянно боролся за стремительно выскальзывавшую из-под ног жизнь. В этот шаткий миг страшная мысль всплеском молнии сверкнула в голове: в той жизни он будет вечно висеть в петле у унитаза, а эти смешливые чертенята вечно будут дергать, рвать, кромсать его своими инструментами.

Дрыгнув ногой, Иван Иванович уцепился ею за край своего предсмертного постамента, как обезьяна за ветку. Обретя опору, он раздернул петлю, уж было намертво впившуюся в шею, кинул ее за голову и с размаху грянулся об пол.

Тут и нашла его жена.

— Ванечка! — увидав болтавшуюся веревку с петлей, упала она на него с криком. — Миленький мой, зачем ты хотел сделать это? Неужели тебе так плохо со мной? Прости меня, я постарела, у меня болит голова и я часто сержусь на тебя. Ванюша, Ванечка, как же я без тебя стану жить...

Услышь Иван Иванович эти причитания, он бы, наверное, заплакал. А он лишь мычал, как оглушенный на бойне бык, когда жена, капая слезами на его лицо, тащила грузное тело мужа в комнату, заворачивая на диван.

Целую неделю Елизавета Евгеньевна не разрешала Ивану Ивановичу вставать с кровати. Возилась с ним, как с ребенком, кормила с ложечки, поила чаем, покупала яблоки и виноград, шоколадные конфеты, лакомила его мороженым с вишневым ликером, до чего Иван Иванович был большущий любитель, но в былые дни по скарденности супруги не смел даже заикнуться об этом. Ночью она вставала к нему поправить сползшее на пол одеяло, целовала в лоб жалеющим материнским поцелуем, подолгу смотрела на него, ужасаясь в догадках и не отваживаясь спросить днем, что же толкнуло мужа на такой шаг.

3

Так Иван Иванович остался жить.

Но для чего? Зачем вообще люди живут?

Этот рано или поздно встающий перед каждым человеком вопрос посетил Ивана Ивановича в возрасте весьма и весьма почтенном. Доселе он не задумывался над ним. А когда задумался, то первый, скороспелый ответ, как и у большинства людей, был по-школьному прост: люди живут для того, чтобы жить. Многие люди, видимо опасаясь дать простор мысли, преспокойно довольствуются этим выводом, хотя жить ради жизни можно только в том случае, если она состоит из одной радости и ничем не омрачаемого счастья. А для скольких людей, которых с младенчества преследовали неизлечимые болезни, жизнь — непрерывная мука и страдание. Если допустить, что люди живут все же ради жизни, тогда зачем они умирают? Не значит ли, что люди живут для смерти? Тогда почему же они боятся ее? Желая prolongить жизнь, люди заботятся о своем здоровье, лечатся у врачей либо прибегают к услугам колдунов и экстрасенсов, питаются по диете, соблюдают режим... И все-таки умирают.

Быть может, люди живут для того, чтобы оставить свой след на земле? Умирая, они продолжают жить в своих делах, сохраняется память о них.

Иван Иванович размышлял об этом, расположившись на балконе в кресле, потягивая из красивого хрустального бокала пиво.

Его ослепила длинная и резкая, как вспышка электросварки, искра. Иван Иванович моргнул, протер глаза, с беспокойством созерцая, как воздух, этот безвидный оксан, в котором беспрепятственно реяли и парили птицы,

огустевал в исполинский — от крутизны небосвода до плоскости земли — кристалл. В чисто-прозрачном теле кристалла шевельнулись очертания каких-то бледных теней и вдруг отлились в безмерные, уходящие к дальней кромке горизонта людские шеренги.

Шеренги дрогнули и — пошли.

Тут были степенные, в благородных седирах старцы, рядом с которыми влеклись иссохшие, исстрадавшиеся за свою жизнь старухи. Меж них вились шаловливые дети, едва пригубившие волшебного напитка жизни и уже покинувшие убранный яствами стол. Шли задорные отроки, жаждущие познать весь мир, легко выступали мечтатели-юноши, гордо шествовали величавые матроны. Шагали скромные, трудолюбивые земледельцы и важные государственные мужи, храбрые воины и думовитые философы, смиренные нищие и переменчивые актеры, неутомимые мастеровые и вдохновенные поэты, мрачные чародеи и взбалмошные, порочные красотки...

Перед Иваном Ивановичем текли неисчислимые сонмы некогда живших на земле людей. С балкона, как с потасенного наблюдательного пункта, он видел, как вырастает в человеческой жизни одно поколение в другое, как стариков сменяют деятельные, полные сил мужчины, а им на смену уже поспевает пылкая молодежь.

Печать молчания лежала на устах шагавших. Неприютная для земного человека тишина царила на этом полуденном смотре. И поверх колеблющейся равнины людских голов изредка — то над благообразным челом старика, то над косичками печальной девочки, то над светлой головкой ребенка — единично вздымались огненные язычки. Этим людям суждено было оставить свой след на земле.

«Боже, как мало!» — прошептал Иван Иванович.

Имена людей, оставивших по себе память, при желании можно уместить в одну большую книгу, но никакие книги не вместят имена всех людей, когда-либо увидевших солнце. Известно, кто спроектировал прекрасное старинное здание, кто рассчитал и построил мост через реку, кто написал книгу или сложил песню. А те, кто каждый год засекает поля, кто водит машины и поезда, лечит больных, воспитывает детей, защищает страну? От них не остается явного следа, но разве эти люди не жили? Да сам он, Иван Иванович, что совершил такого, что переживет его хотя бы на десятилетие? Бухгалтерские отчеты берегутся какое-то число лет, затем списываются в макулатуру, машина на фабрике истолчет их в бумажную кашу, и разве не окажется, что вся его жизнь — такая каша? Но это же неправда.

И в то же время от человека ничего не зависит. Иной деятель всю жизнь искал славы, добивался ее, работал не покладая рук, хитрил, изворачивался, предавал друзей, бросал жену, шел на все мыслимые подлости и ухищрения — и умирал во цвете лет от рака желудка, ничего не добившись, не понятый, не признанный и тут же забытый. Другой, напротив, вел праведную, достойную жизнь, но и его постигала та же участь, жизнь его высypалась в отвал, как пустая порода. А третий — прирожденный удачник, которого слава стерегла уже у колыбели. Единственным трудом для него было родиться. Он рождался и шел по жизни как радостный белокурый гений, осиянный светом славы, охотно делящийся ею с каждым встречным-поперечным. Он возвещал людям музыку бытия, он сам был частицей этой музыки. Он умирал, и человечество еще долго помнило о нем как о существе высшей, неземной породы. А ведь был он таким же человеком, как и все.

С крахом теории *своего следа на земле* рушились все родственные ей теории — теория жизни для собственных детей, для государства, для будущих поколений и т. п. Последняя вообще низводила человека до уровня навоза на всемирном огороде истории. Фальшь ее заключалась в том, что постоянного улучшения жизни не было, не раз в ней случались такие повороты, когда потомки жили хуже, подлей своих предков, когда, поддавшись обману, люди предавали завоеванную в боях славу, а нажитое трудами нескольких поколений богатство спускали за бесценок в погоне за наслаждениями. Невинные девушки, отвергая долг материнства, мечтали о карьере знаменитой проститутки, а молодые парни, соблазненные

возможностью легкой поживы, стремились в воры и разбойники. Матери продавали своих детей ради призрака привольной жизни, а отцы, махнув на все рукой, пускались в безудержное пьянство...

Одним из частных случаев теории *следа на земле* была теория *бессмертия человечества*. Умирали люди и государства, но жило человечество. Однако какая была утеха ему, конкретному человеку, с его единственной, неповторимой жизнью в этом коллективном, стадном бессмертии? Точно так же ведь были бессмертны собаки и кошки, лопухи и крапива.

Чем больше бился Иван Иванович над вставшей перед ним проблемой, тем очевидней становилось, что тропинка мысли ведет его в тупик. Последовательно-логическая теория смысла жизни не выстраивалась. Как ни крути, получалось, что жизнь бессмысленна.

4

Заболевшую от непосильных дум старую голову Ивана Ивановича осенила счастливая идея. Разве не думали другие люди о тех вопросах, которые одолевают его? Конечно, думали, и умнейшие люди: философы, мудрецы. Так не проще ли обратиться за ответом к книгам?

В юности Иван Иванович много читал. Круг интересов его простирался от художественной классики до фантастики и детективов. Суета семейной жизни оставляла мало времени для чтения. По правде сказать, и лень-матушка была тому причиной, что со временем он променял книги на стадион и вечерний телевизор с привычным бокалом пивка.

Не без трепета и смущенного волнения переступил он снова порог библиотеки.

Вначале предстояло решить задачу: с чего начать? Та философия, которую ему вдалбливали в школе, на политзанятиях в армии и на высших бухгалтерских курсах, не удовлетворяла его. Она была примитивно прямолинейна. «Новое отрицает старое», «количество переходит в качество», «бытие определяет сознание», «партия — наш рулевой» и «вперед к победе коммунизма!». О чем тут думать, чем мучиться, когда все порезано и разложено на одинаковые порции, как в солдатской столовой? А Иван Иванович, при своем малом домашнем стаже философствования, дошел своим умом, что в жизни далеко не все так укладисто просто. Железные категории единственно верного, а потому и всесильного учения срабатывают не всегда и не все объясняют.

По совету дежурного библиографа он взялся сперва за учебники по философии и облегченные, популярные изложения буржуазных философских учений.

Язык этих книг оказался для него сродни китайской грамоте. Понадобилось срочно завести блокнот, заполнявшийся новыми словами: детерминизм, экзистенциальный, онтологический, телеологический, гносеологический, индукция и дедукция, ноумен и феномен, имманентный, трансцендентальный, метафизический, субстанция, энтелехия и т. д. и т. п. Не расставаясь со словариком, Иван Иванович зубрил научные термины утром за завтраком, в автобусе, в магазинных очередях, обедая в библиотечном буфете, перед сном и даже ночью, проснувшись, как от тычка, включал торшер в изголовье кровати, лихорадочно листал обтрепавшиеся, замусоленные страницы, отыскивая значение приснившегося слова. Но странно: когда в библиотеке он подставлял значения слов в текст, из них порой сплеталась такая несуразная абракадабра, что мозг наотрез отказывался воспринимать ее. Текст мутнел, расплывался перед глазами, и Иван Иванович засыпал над книгой, сочно похрапывая. Хохотушки студенточки с улыбкой будили его прикосновением своих тонких пальчиков.

Невзирая на трудности, Иван Иванович героически штурмовал одну книгу за другой, приступив к освоению первоисточников. От заграничных имен Гегеля и Шопенгауэра, Сартра и Хайдеггера, Ясперса и Кьеркегора к сердцу подкатывала неодолимая тоска, а тут открыли шлюзы, и вскипел вал своих, десятилетиями не издававшихся мыслителей: Бердяев и Розанов,

Ильин и Карсавин, Лопатин и Флоренский. А еще не тронуты Сигер Брабантский, Фихте, Монтескье, Вольтер, Шеллинг... Господи, да сколько же их всех было!

Жена, напуганная диковатым блеском, появившимся в глазах мужа, его похудевшим, осунувшимся лицом, вздыхала: «Ты бы, Ванечка, отдохнул. Не молодой, так надсаживаться. Чего тебе эти книжки дались? Выпей лучше пивка да приляг, отдохни».

Иван Иванович и сам чувствовал, что переутомился, а остановиться не мог, упрямая воля была сильнее рассудка, и он, как шахтер-стахановец в забой, к десяти утра одним из первых исправно являлся в библиотеку.

Но когда на исходе одной ночи к нему, истерзанному сердечными и головными болями, заглянул «на огонек» подгулявший философ из Кенигсберга в обнимку с Еленой Блаватской, Иван Иванович с холодком понял: недалеко до беды, пора бить отбой. Видать, не для пенсионерских мозгов восхождение на высящуюся перед ним гору. Начинать карабкаться на эти кручи нужно было в юные годы. Не линовать простыни бухгалтерских отчетов, а штудировать тяжеловесные тома.

А кто бы кормил его тогда и содержал семью? И хотя бы он посвятил этому восхождению всю жизнь, кто гарантирует ему, что там, на вершине книжного знания, не обнаружится такой же изъян, как в теории *следа на земле*. Если окинуть взглядом сверху философские теории, то в каждой из них (даже во враждебных, противоречащих одна другой) можно было сыскать близкие, родственные черты; подспудно, дальними отзвуками мыслей теории перекликались друг с другом. Одна философская система порождала другую, отпочковывалась от нее, как побег от ветви.

Однако это было еще полбеды. Опираясь на знания, на опыт, была возможность (оставив без внимания огромность задачи) все познать, систематизировать, объяснить и выстроить всеохватную, величественную теорию. Но существовали еще сверхопыт, интуиция, наитие, откровение. Разумно непостижимый, он вступал в схватку с вещественным опытом, оспаривая его право однозначного истолкования жизни. Их борьба порождала невероятное множество философских систем. Их могло быть столько, сколько людей населяет земной шар (если б все люди, конечно, умели думать), и процесс этот чем-то напоминал игру.

Иван Иванович с сожалением провел последний вечер в читальном зале, попрощался с сотрудницами, привыкшими к чудаковатому старику, и навсегда покинул библиотеку.

С месяц ходил грустный, вспоминая о тех счастливых днях, когда он жил заурядной жизнью рядового пенсионера, ни о чем особом не размышляя и ничего ни за кем не замечая. Для чего пробудилась в нем эта способность думать, обратившаяся в страсть? Насколько легче и проще жилось ему в привычном мирке укороченных квартирных мыслей.

И все же умственная работа, волевые бдения над книгами принесли свой благой плод. Не отрекаясь от своего самого важного открытия, Иван Иванович перестал бояться людей и осуждать их. Добродушная, снисходительная терпимость появилась в нем. Как знать, может, иные люди и не виноваты в своей мертвости?

5

Взамен старого, треснувшего в тот роковой день унитаза Елизавета Евгеньевна после долгих поисков купила новый — импортный, приятного сиреневого цвета. Обливаясь потом, с пересадками с троллейбуса на автобус, а затем пешком Иван Иванович доставил его домой. Хмельной сантехник из ЖЭКа поставил унитаз на место, прикрепил болтами, обмазал раствором и, порядком насвинячив, ушел с заработанной поллитрой в кармане.

В уборной можно было навести порядок за десять минут, но Елизавета Евгеньевна, возбужденная и обрадованная обновкой, решила устроить генеральную уборку во всей квартире, а чтобы меланхоличный Иван Иванович не мешал ей и они не действовали друг другу на нервы, ласково убедила

его съездить в лес за малиной, которая, как известно, лучшее лекарство при простуде. Его попутчиком или, вернее, наставником она уговорила поехать своего двоюродного брата, завязанного грибника и ягодника.

Пригородный поезд, в будний день почти пустой, привез их на небольшую станцию. В полдень они вышли к малиннику.

Обжигаясь крапивой, отгоняя назойливо зудевших оводов и слепней, перекликаясь редкими «Ау!» со свояком, Иван Иванович обирал красные, сладкие ягоды.

Когда-то очень давно, в далеком детстве, он с друзьями-мальчишками так же ходил по малину. Весь день они плутали по лесу, утомились, ягод набрали мало, угодили под холодный проливной дождь и уже ввечеру, чуть живые от усталости, продрогшие, голодные, брели домой. Как ни томил его голод, Ваня терпел, хоть по примеру товарищей и брал иногда из тарки одну малинку, другую. У самого дома его пальцы коснулись дна. Всю дорогу он мечтал угостить родителей — инвалида отца и часто болевшую мать — не покупной, базарной, а им собранной, лесной малиной. Донес же до дома всего горсточку давленных, мятых ягодок. Мать упрекнула его, он заплакал, убежал в чуланку, где ночевал летом.

Иван Иванович стяхнул с ресниц слезу. Сейчас бы он усладил дорогих стариков целым ведром свежих, отборных ягод, но — увы, об этом можно было лишь горестно помечтать.

Согрев на костре чай, ягодники перекусили, залили огонь водой из ручья и пустились в обратный путь.

Человек городской жизни, Иван Иванович не обращал особого внимания на природу, но сегодня (должно быть, это находилось в скрытой связи с его непрерывными мыслями) он любовался лугом, по которому они шли: лиловыми чашечками колокольчиков, покачивавшимися в траве, пушистыми пестиками ирисов, фиолетовыми искорками полевой гвоздики — а сорвав цветок клевера, с волнением почуял, как из мягкого, розоватого шара на него нежно дохнуло медом.

Луг переходил в крутой косогор. Под ногой проалело какое-то пятнышко. Иван Иванович нагнулся и обомлел: в зеленой, спутанной пустоте стеблей трав, стелющихся листьев, в переплетении тонких былинки там и тут мелькали осально-крупные, как бусины, багровые ягоды земляники.

— Николай, — окликнул Иван Иванович свояка, — ты глянь, что тут есть!

Вернувшийся свояк прямо обезумел от такого изобилия. Упав на колени, он рвал землянику горстями, набивая ее в пакет вместе с листьями.

— Не жадничай, — посмеивался Иван Иванович, — хватит на всех.

Набрав стеклянную литровую банку ягод и закрыв ее крышкой, Иван Иванович прилег в тени тонкой елочки. То-то Лиза обрадуется луговому гостинцу. Давно он не дарил ей подарков. Конечно, что-то покупал и вручал к Восьмому марта, ко дню рождения, но чтобы просто так, от души, оттого, что она мила и близка ему, такого не бывало давно. Воспоминание о родителях шевельнуло какие-то струнки, и ему захотелось воздать долг добра, который он задолжал им. Ведь жена и по природе своей была сходна с матерью, а чем старше становилась, тем это сходство делалось ближе.

Солнце клонилось к закату. Воздух дрожал от стрекота кузнечиков. Казалось, вокруг трепещет жаркий, налитый густой солнечной силой зной. Аромат горящей еловой хвои навевал древние, невнятные воспоминания. Прикрыв глаза, Иван Иванович дышал этим смолистым, прокаленным, вибрирующим звоном, как будто дышал своей жизнью, как будто жизнь его была этот огненный, прозрачный звон.

В травяном ковре, устилавшем сверху донизу земляничный косогор, обозначилось темное отверстие, из которого, колеблясь, истекала размывчато-бледная полоса тумана. Откуда мог взяться туман в такую жару? Да это не туман — это дети! Из пещеры посередине холма вереницей выходили дети, их светлые, лыняные головки и создавали впечатление белеющего тумана.

Дети топали босыми ножками по траве, рассыпали беззаботный смех, срывали на ходу землянику, совершали один виток вокруг холма, другой, третий... Иван Иванович заметил, что поток этот раздваивается. Одна часть

его тонкой ленточкой продолжала куриться к сливавшейся с небом вершине, которую венчала странная лесенка, напоминавшая трехдольный церковный крест. Другая часть потока катилась по широкому подножию холма вниз, пропадая в глубоком, темном овраге...

Значит, те периодические умирания вовсе не были прихотливой выдумкой его ума. Из них, из маленьких смертей, закручивался ком вечной смерти. Но тогда, несомненно...

— Подъем! — дурачась, гаркнул ему прямо в ухо свояк.

Иван Иванович, затрепетав (так испугали его звуки человеческого голоса), пробудился и какое-то время не мог понять, где он, как очутился здесь и почему лежит на траве.

— Вставай, Ванек, вставай, — дружелюбно тормошил его Николай. — Дома спать будешь.

На пути до станции Николай, человек нрава шумливого, компанейского, неотвязно вызывал Ивана Ивановича на разговор. Тот отмалчивался, сославшись на усталость. Тогда свояк включил висевший у него на шее транзистор.

Иван Иванович взмолился:

— Выключи, Коля, ради Бога, ты свою тарактелку! Голова и так разламывается на части!

— В другой раз поезжай один, — обиделся Николай.

А Иван Иванович был занят важным делом: прокручивал назад ленту жизни в поисках того момента, когда жизнь разделилась и он вместо восхождения на вершину потек в подземную трещину.

На последних тридцати годах можно было не задерживаться — разделение произошло не здесь, — но воспоминания, не спрашивая, приходили сами. Однажды он умер после того, как нашел оброненный кем-то кошелек. Там были паспорт, пропуск в учреждение и — много денег. Он возвращался с вечеринки веселенький, в блаженном подпитии и подумал еще: во повезло! Прошли годы, деньги давно истратились, и сейчас было невыразимо стыдно, за какую грошовую сумму он принял смерть, правда, сам тогда не зная об этом.

6

С таблеткой валидола под языком, навалившись затылком на подголовник вагонного кресла, Иван Иванович углубился в воспоминания.

В зрелые годы он умер в день приема в партию. Секретарь парторганизации спросил, зачем он вступает в ряды КПСС. Он соврал: чтобы строить коммунизм (а взаправду, чтоб получить место главбуха, которое ему так и не досталось). Секретарь знал, что он врет, и Иван Иванович знал, что секретарь это знает. Но один обязан был об этом спросить, а другой был обязан именно так ответить.

Чем больше молодели воспоминания, тем длиннее были промежутки между умираниями. В армии, к примеру, он умер только раз. Их, мешковато обмундированных, робких парней, привезли с вокзала в казарму, построили в одну шеренгу. Когда старшина зычно рявкнул: «Равняйся! Мыр-ррно!» и, грохнув каблучищами сапог, повернулся для доклада к ротному командиру, в этот миг Иван Иванович умер. Потом привык, втянулся, солдатская жизнь побежала своим характерным ходом и к концу службы даже полюбилась ему.

Воспоминания подгоняли друг друга. Первое счастливое время после женитьбы, годы семейной масты — заначки от жены, привычное унылое вранье, глухая многолетняя отчужденность... Иван Иванович вдруг понял, что нельзя все сваливать на сварливый, скопидомный характер жены. Они были поровну виноваты друг перед другом. Вдохновенная, молодая любовь выродилась в обряд совместного питания, обязательных супружеских встреч, как вырождается и хиреет, задушенный сорняками, когда-то ароматный и прекрасный цветок. Любовь не умерла, она была жива, нужно было вернуть ее.

Годы юности бежали бурным весенним ручьем. Умерев на партсобра-

нии, Иван Иванович ожидал, что по аналогии умрет в день приема в комсомол и пионеры. Этого не произошло. По прошествии полувека те дни, конечно, не вызвали в душе прежнего восторга, но и умирать из-за них не было никакой причины.

За десять лет учебы в школе он умер дважды. Когда тишком разрезал бритвой куртку одному мальчишке, который обижал его, а подраться с ним, дать ему сдачи у Вани не хватало смелости. И еще он поставил из озорства подножку совсем *незнакомой девочке, бежавшей по коридору*. Она упала и сломала себе руку. Иван Иванович с болью вспомнил ее жалобный крик и слезы.

Еще одна оказия случилась с ним в детском саду. Затем потянулась светлая полоса неумирания. Казалось, она была длиннее всей последовавшей за нею жизни.

7

Приехав в город, Иван Иванович попрощался с попутчиком, поблагодарил его за поездку и направился домой.

Со временем привыкнув наблюдать не только за людьми, но и за собой, Иван Иванович на кратком пути до дома (а жил он в десяти минутах хода от вокзала) заметил, что в радости от впечатлений нынешнего удивительного дня чего-то недостает, не хватает, чтобы она была полной. Если б Иван Иванович умел петь, он бы сравнил свое ощущение с недопетой песней, когда певцу, уж было собравшемуся излить в нежнейших нотах свою душу, приходится вопреки желанию замолчать. Иван Иванович, однако, дара пения был лишен, и смутное чувство недовольства исподволь отравляло ему жизнь.

Лишь оказавшись во дворе своего дома под сенью цветущих лип, вдохнув их веющего, желтовато-мягкого аромата, Иван Иванович вдруг вспомнил знойный, звенящий жизнью луг. Мысль, рассеянная грубым вскриком свояка, ожила, сливаясь в единое целое, отстраняя смуту и недовольство.

Да, мировой закон неразделимых единств нарушить было нельзя; тьму сменял свет, отчаянию противостояла надежда, и коль скоро из малых смертей-умираний создавалась большая смерть, то побеждавшая небытие вечная жизнь, очевидно, вырастала из крупинок новых рождений. А каждое такое рождение немислимо было без детского чувства в душе. Недаром же сказано: будьте на злое как дети.

Снова его ожидала серьезная работа — еще раз перебрать год за годом всю жизнь. Конечно, укоры совести горше похвал и резче отпечатываются на сердце, но ведь не может того быть, чтобы он всегда только умирал. Неужели ни разу он не рождался вновь и не числится за ним ни одного доброго дела?

Вот знакомый подъезд. Дверь на пятом этаже, обитая гвоздиками с фигурными шляпками. Трель звонка и близкий голос жены:

— Кто там?

— Юный натуралист, — ответил Иван Иванович. Услышав смех Елизаветы Евгеньевны, он скорее развязал рюкзак, вынимая из него банку с земляникой. — Смотри, радость моя, что я привез тебе.

